

Для нынешних мальчишек моё далёкое пацанское счастье, скорее всего, будет выглядеть диковато-пугающим. Но одногодки-то знают, оно было совершенно обычным для тысяч таких же, как я, обитателей городских дворов Сарова (в ту бытность ещё Арзамаса-16), застроенных «хрущёвками», его окраин с частным сектором и пригородными посёлками из щитовых домов, загадочно называвшихся «финскими».

Счастье наше было вполне себе обычным: хулиганистым, со всеми его луками, рогагулями, самострелами, поджигами, чикалками, бомбочками из спичечной серы и алюминиевой пудры, ножичками и с прочей крайней необходимостью. Но почти всё то, без чего мы не представляли себе жизни, учителями осуждалось категорически. Например, замеченный как-то у меня обычный перочинный ножик, которым я на одном из уроков всего-то разрезал на парте расплюснутую свинцовую пластину на небольшие ленточки (от которых на рыбалке легко было откусить или тем же ножом отрезать нужный вес грузила для поплавка) был конфискован у меня учительницей и вместе со мной доставлен к завучу. Или опять же, бритвенное лезвие, которым, казалось тайком, вдохновенно, навечно вырезалась на обратной стороне откидывающейся крышки массивной деревянной парты некая сакральная запись, объявлялось вне закона. И снова я под хихиканье дружков, сопровождающееся ехидными комментариями типа: «Попался, писатель!», следовал известным маршрутом.

То, что мне самому приходилось посещать не только учительскую и кабинет завуча, но и директорский кабинет, это ещё ничего. Но вот ожидаемый после моих похождений визит в школу родителей, просьба о котором, помимо устного приглашения, озвученного мне, закреплялась и размашистой пожарной красной записью в дневник, изрядно портила мне настроение. Запись в дневнике не то что оценку в клеточке, нельзя было, аккуратно подчистив ластиком или срезав тем же лезвием, исправить на приличную. Скрыть её можно было, удалив из дневника два листа: тот, на котором она красовалась, и его парный, аккуратно разогнув скрепки, а потом в нужной последовательности опять вставить все листы и загнуть скрепки обратно. Можно было, конечно, и просто вырвать его, вынув парный лист и иголкой достать из-под скрепок, оставшиеся от него ворсистые кусочки. Если эта процедура выполнялась не однажды, то дневник подозрительно худел и в этом случае приходилось его «терять»... О «потере дневника» с сожалением, с неподдельным раскаянием, но и с опаской общалось родителям.

Но, как не раз я убеждался, и тот, и другой варианты сразу или со временем разоблачались. Или из-за того, что мама, работая в архиве на одном из секретных заводов, относилась к проверке дневника с нежелательным для меня вниманием, или из-за присущей некоторым учителям вредной настойчивости — интересоваться судьбой своих записей в дневниках некоторых учеников. В любом случае после посещения родителями школы отцовское порицание, как воспитательный процесс было неизбежным...

Ожидание родителей в день посещения ими школы решительно нарушало всё в моей жизни! Я ни в коем случае не мог, как говорила мама, «шлындать» на улице с теми друзьями, «которые только до милиции и колонии довести могут!», а должен был с другими, по мнению мамы, «хорошими ребятами» играть во дворе. На это время у меня даже к чтению интереснейшей книги про индейцев или про пиратов, очередь на которую в школьной библиотеке исчислялась неделями, интерес пропадал. О том, чтобы выполнять домашние задания, я уж и не говорю, тем более что эта необходимость и так была для меня всегда на последнем месте. Вот и приходилось, глядя в окно в ожидании родителей, только «ждать и думать». Батя так и говорил, уходя: «Мы сейчас в школу. А ты жди и думай!»

Думать и вздыхать от этих дум приходилось, с завистью глядя на то, как пацаны гоняют в коробке шайбу или жёлтый теннисный мячик вместо неё. Кто с настоящими клюшками, а кто и с самодельными, что получались из стволов, очищенных от веток выброшенных новогодних ёлок. Вершинки стволов мы выгибали, получившийся загиб переплетали шпагатом или бельевой верёвкой, и получался плетёный полукруглый крюк, что-то вроде вратарской ловушки, шайба в которой держалась так, что — поди отними! Преимущества самоделки были неоспоримы, их можно было сделать сколько угодно, не жалеть при игре и не приставать к родителям с очередной просьбой — купить новую клюшку вместо сломанной.

Если же дело было не в зиму, то оставалось только завидовать пацанам, разбивающим прямо у меня под окошком «Двенадцать палочек», азартно набивающим и отбивающим «чижа», гоняющим в лапту. Или всей душой быть в той же хоккейной коробке, из которой на весь двор неслись требующие справедливости вопли расхристанных, жарких в азарте своём, со ссадинами на локтях и коленях, футболистов: «Подкат сзади не по правилам!», «Да он из вне игры забил! Нещитово!»

Осознание того, что счастье проходит стороной, в такие минуты было невыносимым...

Помню, что душевное состояние, в котором я пребывал, ожидая скорое уже разрешение школьно-домашней трагедии, обостряло все мои чувства настолько, что острой обоняния, слуха да, наверное, и прочих чувств, я превзошёл бы известных науке и зверей, и птиц. Например, я и обычно-то мог легко учуять, когда Сергей, старший брат, задолго ещё до меня приходящий с улицы, гуляя, курил. Но, находясь в тревожном состоянии, сквозь все двери и этажи, меж резких запахов в подъезде — сваренного кем-то из соседей борща, выпечки, не говоря уже о картошке, пожаренной с луком на сале, — я мог распознать и едва уловимый запах сырых очисток той самой картошки! Или, с тоской наблюдая в окно, с его протыканными ватой на зиму щелями, с закрытой форточкой, как пацаны гоняют на залитом нами же льду в дальнем конце двора коробки, слышать, что брошенная шайба попадает не то что в штангу, но и в сетку ворот. Сетка, правда, для долговечности, была металлической — рабица, да и каркас сделанных в ЖЭКе ворот был нестандартным. Я мог даже прочитать у Цепова Санька на черенке его клюшки название, пропечатанное красными буквами внаклон — «Авангард», и заметить, что на загнутом крюке от постоянного ширканья об лёд

размохрилась и уже начала отклеиваться обмотка из чёрной изолянт, и решить для себя, что я на его месте лучше бы не щёлкал по шайбе, а с кистей бросал — при щелчке было слышно: клюшка у него уже с трещиной.

Так вот: тревожные ожидания родителей из школы, видимо, не просто обостряли чувства, а так перемешивали и настраивали их, что только по тому, как ведёт себя ключ в открываемом замке, даже ещё по шагам в коридоре, я мог предположить, какой тяжести отцовское порицание меня ждёт. Но в любом случае готовым надо было быть ко всему: и к воздыханиям, говорящим о моём искреннем раскаянии, с обязательной следующим за ним всамделишным «Я больше не буду!», и к тревожной слежке не появившись ли у батиних рук желания расстегнуть ремень и, сжав блестящую, жёлтую пряжку в кулаке, вытянуть его из брюк.

Почти вот так же мы с пацанами из норы или из травы, да откуда придётся, вытягивали ужей. Только движения при их ловле были стремительнее — ужа нужно было рукой быстро прижать к земле и лучше ближе к голове, желательно, там, где у него жёлтые полосы, чтобы он, извернувшись не укусил тебя (правда, ужи, кроме самых больших, кусали редко) и не выскользнул, а затем уже другой рукою сжать его, черного, холодного, извивающегося сразу же за головой, там, где у него эти самые жёлтые или оранжевые полосы. Можно было прижать его к земле и веткой-рогатинкой (я видел в передаче «В мире животных», что именно так делают охотники за змеями), но мы же не специально за ужами охотились, а так, старались поймать при случае.

Поймать ужа — было удачей. Выпустить его незаметно в классе и, подбадривая девчоночий переполох воплями: «Змея! Змея!», почти гарантировало если не срыв урока, то сокращение его наполовину — точно!

Поимка ужа, ускользящего от нас под азартные крики между партами, — это вам не просто ловля тайком выпущенных из спичечных коробков и гудящих под потолком или бьющихся в оконные стёкла майских жуков! Это уже серьёзное предприятие! И длилось оно не две-три минуты.

После того как учинителями же этого мероприятия героически изловленный уж помещался в принесённую из столовой стеклянную банку и победно демонстрировался всему классу, писки и причитания девчонок сменялись на возмущённое: «Дураки глупые! Ну, вы совсем уже! Мы вот скажем, кто это сделал! Я видела, видела!» Но на вопрос учительницы: «Кто?», уже после того как ужа сворачивался на дне банки и всё немного успокаивалось, незаметно для учительницы, гневно глянув на одного из виновников переполоха, Ленка Крюкова шипела мне:

— Вот попросишь примерчик решить!

И девчонки вразнобой утверждали: «Я видела, он из того угла приполз!», «Да нет же, он из-под двери выполз!»

Возбуждение спадало, становление порядка в классе возлагалось на старосту Юлю Кистанову, а те, кто героически ловил «это безобразие», небольшой делегацией во главе с «имеющей подозрения учительницей» несколько понуро и с плохо уже скрываемой обречённостью во взглядах вместо только что имевшей место быть буйной радости отправлялись к директору школы Виктору Петровичу...

Несмотря на все мои «предполагаемости», начало воспитательного процесса вернувшимися родителями всё же требовало от меня самого пристального внимания. Не знаю, как, но, словно на рыбалке, глядя на ступившиеся тучи, я определял: ливанёт из них так, что собирай манатки и беги укрываться куда придётся, или брызнет — чуть, так, не в счёт, я мог определить почти наверняка тяжесть ждущего меня наказания.

И отцовский ремень в такие ответственные минуты представлялся мне именно змеей. Если батя был в брюках, которые носил без ремня и в поисках его обрастал

свой взгляд на вешалку, где тот обычно висел, то дело шло к тому, что вздыхать мне нужно было проникновеннее, слышнее, а каждый из последующих раскаянно-понимающих вздохов должен быть продолжительнее, чтобы оказать соответствующее влияние, по крайней мере, на маму, а через неё, соответственно, и на бату. Но если и это не гарантировало применения ко мне не одобряемых педагогикой и, конечно, мною самим мер, то естественным образом надо было перемещаться подальше от отца за круглый большой раздвижной стол, что стоял в центре комнаты. При этом я рассчитывал воспользоваться обретенными навыками находиться, по возможности, всегда на противоположной от отца стороне стола. Кстати, стол, находящийся обычно в собранном положении, то есть будучи минимального размера — круглым, к появлению родителей стоял уже раздвинутым, то есть овальным, максимально-го размера, что, учитывая мою подвижность, позволяло, даже при наличии ремня и суровой решительности отца в процессе разборов обойтись редкими, хотя порой и обжигающими соприкосновениями с последующими растираниями мною своих чувствительных мест...

К слову, этот тяжёлый раздвижной стол и раскладной диван с круглыми валиками по бокам, пожалуй, были в квартире единственной покупной мебелью. Вся остальная домашняя мебель, была сделана отцом с любовью, по всем правилам его столярной профессии.

Стоящая сбоку от дивана в первой, большой проходной комнате, именуемой «залом», вешалка, о которой идёт речь, пропитанная морилкой до тёмно-коричневого цвета и покрытая лаком, изяществом своим напоминала мне шахматного короля или ферзя. Она была собрана из аккуратно выточенных деталей: стойки с крючками для одежды, над которыми от стойки же расходились вверх шесть — с охватившим их посередине ободом — лучей с небольшими шарами на концах. Снизу большой обод лежал на гнутых ножках, скрепляя их. Настенная вешалка с калошницей в прихожей, все табуретки, кресла, полки для книг и цветов, этажерки с точёными балясинами и завитушками, журнальный треугольно-овальный, с тремя, прикреплёнными под углом ножками, кухонный и наши с братом письменные столы — всё было сделано отцом.

Так вот, если ремень, эта кожаная сволочь, в тот момент будучи и не вдет в брюки, но в предчувствии своей надобности в предстоящей экзекуции, свисая с вешалки, вроде бы даже и извивался, то дело шло к тому, что и самыми искренними, глубокими вздохами, видимо, было не обойтись... Но до трагического финала доходило всё же редко. К приходу родителей из школы отцовский и наши с братом ремни, как правило, непременно куда-то девались. А если по какой-то оплошности — нет, то мама в конце перечислений и оценки всех моих «подвигов», о которых родителям поведали в школе, говорившая: «Сил моих никаких больше нет!», что я: «Добьюсь своего — меня выгонят из школы! Возьмут на учёт в детской комнате милиции! И оставшись неучем, стану: пастухом, дворником, грузчиком или кочегаром!»

И надо отдать должное маме! В последующей жизни я, вдобавок к озвученным ей профессиям, перепробовал по собственному желанию, вопреки маминому ужасу и, безусловно, с пользой для себя, много и других, самых простых и нужных профессий

Но пока она не в силах уже стоять, вздыхая и охая, садилась, расстроенная, в кресло и, держась за сердце, взывая к отцу: «Сделай же что-нибудь!» и, глядя с тревогой на то, как батя, взяв в руку ремень, но не приняв ещё окончательно сурового решения, тут же просила его:

— Максим, ну что ты, что ты! Не надо! Он ведь понял всё. Правда, понял, сынок? Ох, сил моих больше нет... Ох, выгонят тебя...

И, сколько помню себя, чаще всего, в конце концов, мама протяжно, батя с облегчением, а я, весь виноватый и несчастный, дав обещание: «Никогда-никогда больше!», но тоже довольный благоприятным для себя исходом дела, вздыхали. Лишь ремень, если и был снят, отправлялся на вешалку и от досады на свою не востребованность некоторое время, изогнувшись пополам на верхнем её ободе, обиженно раскачивался.

* * *

Наступление летних каникул всеми мальчишками встречалось с ликованием — и не только из-за того, что конец школе, но и для тех из нас, кто не уезжал в пионерлагеря, сведением любого надзора за нами к самой малости. Теперь мы могли целыми днями беспрепятственно, самозабвенно, часто не только до споров, но и до порядочных стычек, допоздна гонять в футбол, тайком играть в чеканку и, опять же, подражая старшим парням, курить, пристально следя за тем, чтобы тот, к кому переходила сигарета, затягивался по-настоящему.

Мы шлялись по окрестным лесам, купались до синюшных губ и неуёмной дрожи, «на слабо» прыгали «рыбкой» с всячего моста, греясь потом у разведённого костерка, на котором, если удавалось, заводя, словно бредешком, вдоль берега марлей или куском мешковины, наловить рыбьей мелочи, поджаривали её на прутьях.

Но вот настоящая рыбалка... Когда речь заходила о рыбалке, то для меня и некоторых пацанов из нашего двора прочие ребячьи радости отходили назад. Рыбачили мы на Сатисе и Саровке, на лесных озёрах: Протяжке, Варламовке, на трёх Филипповских. Счастливыми были те, кому со старшими — отцом или родственниками — удавалось ездить рыбачить на Мокшу.

Мокша в представлении каждого из нас была сказочной рекой! Выгибаясь огромной дугой, как бы сторонясь нашего города, она охватывала самую дальнюю часть заповедного леса с его борами, дубравами, чашобами и перелесками. И из города, частью расположенного тоже в заповеднике, но на другом его конце, ехать к ней что в одну, что в другую сторону было примерно одинаково: тридцать — тридцать пять километров.

В Мокше, с её стремнинами, огромными долгими плёсами, омутами, перекатами, тихими заводьями, а также с зарослями кувшинок, белых лилий и камыша, в заливных озёрах, было множество всякой рыбы. От мелкой серебристой уклейки, которую можно было поймать только на самый маленький крючок номером «два с половиной» (попросту — «заглотыш»), ершей и шустрых пескарей до гигантских сомов, которые, по рассказам, уток и гусей могли запросто проглотить. Такие сомы, легко рвущие миллиметровую леску, вместе с огромными щуками, налимами и судаками обитали в омутах-прорвах, поглотивших по самые вершины, рухнувшие в половодья с береговой крутизны дубы и ясени. Корни и основания деревьев навечно уже замыты песком и глиной. И только вершины да ломаные, калеченные временем и половодными льдами, серые, гладкие остатки стволов и сучьев, обозначая своё упорство, оставаясь над тёмной поверхностью кручёной текучей воды, рассекая её на расходящиеся от них с тихим шёпотом струи. Вот по таким крепким местам и возле них в Мокше самая-самая рыбалка!

Отец моего одноклассника Андрея Веселухина, дядь-Юра — они жили над нами на третьем этаже — каждые выходные ездил на Мокшу рыбачить. И столько рыбы привозил, что тёть-Нина, Андрюхина мама, раздавала её и соседям. Эх, и чего Андрюха такой тюфяк! — никогда с отцом на рыбалку не ездит? Самое большее, так это перед выходными он помогал отцу наловить живцов — серебристых маленьких рыбок — верхоплавков, их ловили малявочницей на Протяжке или Варламовке и до пятницы те плавали в большом молочном бидоне. Часто даже и живцов-то ловить я напрашивался с дядь-Юрой вместо Андрея.

Было недалеко от города у нас в лесу ещё одно озеро — Гадово. Изо всех озёр оно было самым близким. Редко, но мы ходили и на него. От железнодорожной насыпи до озера надо было идти лесом по дороге, с годами заросшей высокой травой, кустарником, небольшими деревцами и множеством поперёк неё упавших одиноких деревьев и завалов.

Вооружившись палками и орудья ими, как саблями, с сочным хрустом перерубая лесную траву, стараясь отпугнуть возможных змей, мы совершали походы на это загадочное озеро. Полноневозможно, что и название-то своё оно получило как раз от неисчислимого количества змей, обитавших в его окрестностях. По детской памяти, на озере лишь в некоторых местах были травянистые, сырые, с заполненными водой ямками, участки берега, которые совсем ненамного отделяли тёмную, таинственную гладь воды от лесных зарослей. В основном же диковато-сумрачный лес настолько близко подступал к озеру, что ветви деревьев нависали над водой, а при забросе удочки или при подсечке, надо было изловчиться сделать всё так, чтобы леска не запуталась в них.

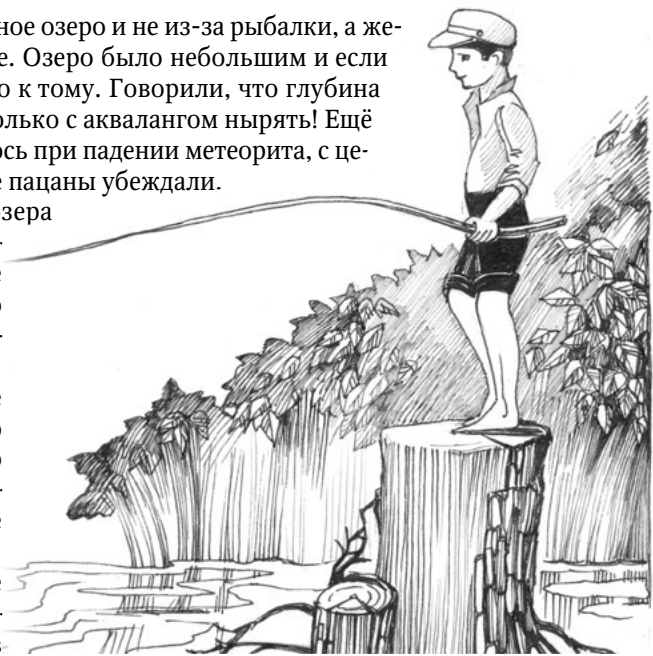
По рассказам, в этом озере водились огромные караси. Но нам почему-то попадались только уменьшенные до размера пальца-двух доисторические земноводные драконы-тритоны с красно-оранжевыми в крапинку брюхами. По чёрной или коричневой спине у каждого из них от головы до кончика хвоста шёл настоящий, только маленький и очень мягкий, драконий гребень. Тритоны были холодными, скользкими. Если взять тритона в руки и несильно зажать в кулаке, то он, изворачиваясь и пытаясь выбраться, высовывал голову наружу и медленно моргал, открывая и закрывая набрякшие веки выпученных глаз.

Пристальные, жёлтые по кругу, с большими чёрными зрачками глаза смотрели холодно, словно сквозь тебя, туда, в подступающее к воде, во всматривающееся тебе в спину сумрачное, дремучее, перешёптывающееся... Кто знает, может быть, и не из-за змей, а вот из-за этих тритонов озеро называли Гадовым? Впрочем, нам-то какая разница!

Отчасти мы ходили на лесное озеро и не из-за рыбалки, а желая показать своё бесстрашие. Озеро было небольшим и если не совсем круглым, то близко к тому. Говорили, что глубина у него такая посередке, что только с аквапангом нырять! Ещё говорили, что оно образовалось при падении метеорита, с целым домом величиной! Старшие пацаны убеждали.

что метеорит лежит на дне озера и кое-кто до него, не в серединке, конечно, а чуть ближе к берегу, даже доныривал! Но никто из нас нырять до метеорита, несмотря на подначки старшаков, не решался, разве недалеко от берега, где и то было уже — «с ручками». Но там кроме вязкого, холодного, противного ила ничего не было.

Искупавшись в озере, тоже большей частью, чтобы показать своё бесстрашие, собрав



и отложив удочки, мы разводили костёр почти у самой воды и рассказывали, то перебивая друг друга, то замирая, страшные истории.

Лучшим другом у меня в те годы был Сашка Дроздов. То, что он младший в нашей разновозрастной компании и единственный отличник, было терпимо. Он так же, как и все дворовые пацаны, гонял в футбол, играл в лапту, чижа, мастерил для войнушки деревянные ружья и пестики, делал луки, в общем, всё то, что так необходимо в мальчишеской жизни!

Но больше всего мы с Саньком любили рыбачить. Долгожданный рыболовный сезон начинался обычно в конце марта или начале апреля. Многим жителям города, наверное, странно было видеть мальчишек с удочками, спешащих на реку, когда на ней ещё и лёд-то не везде сошёл! Проходя рядом с ними, они могли услышать и взволнованный разговор друзей:

— Я тебе рассказывал, Геныч, Цепик вчера за мостом у ДОКа вот такого подъязка поймал? — и Саня ребром ладони, словно пытаюсь перерубить согнутую в локте левую руку, в которой держал разобранную бамбуковую двухколенку, чуть ниже локтевого сгиба, отмерял размер подъязка. — На мотыля ловил!

Твёрдо зная, что на мотыля клюёт всегда, мы сокрушались о том, что его у нас нет. Приходилось рассчитывать на белый хлеб, буханку которого, купив, мы по-братски делили. Большею частью хлеб мы, конечно, съедали сами. Клевало на него в это время неважно, и мы рассчитывали больше на червей, которых давал нам дядя Юра Веселухин, он заготавливал червей для зимней рыбалки и хранил в погребе гаража в ящике с землёй. Удачей было перед рыбалкой найти ручейников, ползающих со своими домиками-трубочками по мелководью, их в это время можно было найти только у тёплого ручья, впадающего в Саровку в районе ТЭЦ. Вот на ручейника клёв был всегда гарантирован, на него клевало даже лучше, чем на мотыля. И поэтому перед каждой рыбалкой мы всегда шли к месту впадения ручья в Саровку в надежде найти их хоть несколько штук.

Рыбалку начинали тут же, меняя обловленные места, спускаясь вниз по речке. Ниже тёплого ручья лёд на Саровке истончался, а местами вовсе растаивал чуть ли не с февраля, и не только из-за самого ручья. Лёд на берущей начало в далёких лесных болотах впадающей в Сатис уже в черте города невеликой речушке Саровке и в крепкие морозы не очень-то прочный, подтачивался и чистойшей водой множества источников вдоль её берегов, а также впадающих в неё лесных ручьёв, что не замерзали под снежными шубами в лесных оврагах и в лютые морозы. Услышать же их, добавляющих перезвон в усиливающиеся под снегом голоса, можно было ещё задолго до того как весна начнёт сочить слежавшиеся овражные намёты. Прежде чем отмякнут, станет оседать хрусткий февральский наст с вечно скользящими по нему золотистыми сосновыми чешуйками и высыпавшимися из открывающихся тихими солнечными днями еловых и сосновых шишек семенами-крылатками. Таял в речушке лёд и из-за более быстрого, чем в запруженном плотиной Сатисе, течения.

Пройдёт совсем немного времени от той поры, когда Саровка, лишь обозначив серебряным говором своим переломные дни от зимы к лету, ободрится совсем, глядишь — уже и на Сатисе лёд потемнел, отяжелел, а в низинах и по всей долине реки начавшиеся оттепели в неделю нальют вдруг силой, да обшелушат набухшие почки на ветках краснотала, так опушив его, хоть наламывай ветки охапками и в церковь носи, словно сегодня и есть Вербное Воскресенье!

Ещё несколькими неделями позже из множества свесившихся с каждой ветки ольхи (которой вдоль Саровки, как нигде много) обмякших, длинных коричневых, серёжек при порывах ветра в тёплую погоду на редкие ещё поспешившие распуститься

цветы мать-мачехи посыплется золотая пыльца. Перед тем как вовсе пойти в разлив, Саровка шумными потоками начинает в бочажках и заводах кружить мелкий сор и набивать пенные шапки. Вот в это время начинается в неё ход идущих на нерест плотвы и подъязка из содвинувшего уже льды Сатиса. Именно с этих дней смысл всей нашей жизни с Саньком заключался в рыбалке!

Но если в апреле и мае школа ещё мешала любимому занятию, то всё лето напролёт наше время целиком посвящалось ему. Любимым местом рыбалки у нас была Протяжка. В озере водился карась обыкновенный — золотистый, мы называли его просто белый. Но изредка попадался и красный карась, которого за силу и буйный нрав называли диким. Была ещё и мелочь рыба — верхоплавка. Серебристая, блестящая, юркая, она вырастала самое большее — до пальца в длину, но уж больно досаждала тем, что часто не давала крючку с наживкой опускаться до дна, порой напроць объедая насадку, если мы ловили на хлеб (тем более когда он был не в катышке-горошине, а лишь прищипнут на крючке) или, к примеру, на тесто или геркулес.

На Протяжку отправлялись мы ещё по темноте. Дорога на озеро была неблизкой и занимала часа два с лишним. От дома почти через полгорода нужно было дойти до посёлка Ключевого, а вот после него — только лесом. Песчаная дорога по определению не могла быть укатанной и плотной, и идти по сыпучему песку было трудно, к тому же он вместе с мелкими камешками обязательно попадал в кеды, из-за чего приходилось часто останавливаться и вытрясать. Идти сбоку от дороги по травянистой обочине было легче, но в траве, не замеченные в ночной темени, часто попадались спотыкучие корни деревьев. Поэтому мы шли то по дороге, то вдоль неё, изредка разговаривая:

— Сань! Как думаешь, поймает сегодня?

— А то! Геныч, а давай на пеньки сразу, там Цепик в прошлый раз, помнишь, какого вытащил?

— А то, — отвечал я мечтательно. И опять надолго воцарялось молчание.

Лесная дорога была не широкой, и в тех местах, где она шла через сосновый лес, кроны огромных сосен высоко над нею смыкались. Я хорошо помню, что если при ходьбе смотреть вверх, то яркие звёзды, ясно видимые не то что в бархатной черноте неба, но даже и при наметившихся в нём предутренних переменах, там, высоко над сосновыми кронами, то спрячутся за ветвями, то опять выглянут. Вот и кажется, что они перемигиваются с тобой.

А если там, где небо открыто, остановиться и долго смотреть на звёзды, то, может быть, оттого, что ты внимательно на них смотришь, они начинают словно бы дрожать. И от этой дрожи часть белых лучей превращается то в синие, то в красновато-сиреневые, то в желтоватые. Самые длинные лучи у звёзд — белые-белые. Мне будто и помнится, что, протянув руку к такому лучу, можно было ощутить колкость его и холодок. А те — разноцветные, искристые, короткие лучики, что получались от звёздной дрожи, — ими звёзды перешёптывались между собой.

Случалось — остановишься и замрёшь, вглядываясь в звёздное небо, пытаешься рассмотреть: которую из звёзд, если можно было бы, ты выбрал себе? Стоишь в тёплой, тихой, разлитой вокруг ночи, всматриваешься в звёзды, и овладевает тобой необъяснимое чувство, что вот-вот и вспомнится (именно вспомнится, а не откроется) то, что ты когда-то знал! Да, да — знал! И вот сейчас, стоя под перешёптывающимися между собой звёздами, ты охвачен чувством, что ещё чуть-чуть — и через шёпот их и перемигивание всё тайное опять станет доступно тебе...

Но, очнувшись вдруг от отдалённого уже: — Генка-а, ты где? — так и не услышав звёздного шёпота, не узнав (или всё же, не вспомнив?) и частицы того, что так томило

тебя всего, лишь поёжившись от передавшегося телу звёздного озноба, всё в той же тишине и непроглядности леса, выхватив лучом фонаря дорогу, поспешишь догонять друга...

Ближе к железнодорожному поезду, за несколькими лесными оврагами с высыпающими летом ручьями боровой, тёмный лес ненадолго отходит от дороги, уступая место опушкам из липы, осины и березняка. Ко времени, когда мы сюда подходим, небо уже сереет и звёзды на нём — не такие уже яркие — сначала теряют свои лучи, а немного погодя истаивают и сами. Дорога становится хорошо видной, и мы, ободрённые тем, что до озера остаётся идти каких-то минут сорок, убыстряем шаг, замолчав вовсе. И только месяц, побледнев и наклонившись рожками сильнее, будет смотреть, как двое мальчишек по песчаной лесной дороге упорно идут за своим счастьем.

Оставшуюся часть пути мы успеем пройти враз к тому времени, когда развидняется настолько, что на воде будут, сначала не очень, но затем всё заметнее поплавки, а затем и самые чуткие карасиные поклёвки. Идти в самый конец озера, где мы собираемся ловить, ещё какое-то время придётся туманной луговиной вдоль берёзовой рощи, и лишь в самом конце пути дорогу опять обступят огромные сосны. Отсюда, с разлива лесной речушки Саровки, откуда даже в ясный день плотина, сдерживающая воду в озере, еле-еле видна, Протяжка и берёт своё начало.

Эти лесные путешествия и рыбалка — самые яркие впечатления, оставшиеся у меня из той поры. А переглядки со звёздами под сводами сосен так отчётливо представляются мне и сейчас, что, кажется, закрой глаза — и опять сможешь, протянув руку, коснуться звёздного луча и попытаться услышать, о чём звёзды перешёптываются между собой...

Озеро встречало нас часто таким туманом, что воду в нём можно видеть разве чуть за береговой кромкой. Впрочем, и она большей частью была скрыта сплошными зарослями осоки, растущей как на берегу, так и в воде. И только там, где её заросли разрывают редкие бело-жёлтые, песчаные прогалины, видно, что вода тиха и недвижна. Над её поверхностью появляются, свиваясь меж собой, струйки, легчайшие сгустки, обрывки молочно-прозрачного вблизи, но чуть дальше всё более плотного и наконец, обращаясь в непроглядную для взгляда пелену. И тут, и там испарения, отделяясь от воды, поднимаясь, клубясь, втекая друг в друга, сгущаются, становясь всё непрогляднее. И уже чуть дальше это колеблемое, непроницаемое, обволакивая тёплой озёрной сыростью весь суший мир, со всеми его красками и звуками, поглощает его... Только сумрак и тишина предутреннего леса вместе с двумя мальчуганами, что вышли из него, вслушиваются и всматриваются в то, как озеро парит, озеро исходит туманом, озеро дышит...

Здесь, в самом начале озера, где разлив Саровки только начинается, даже при удалении от берега, глубина не больше полуметра, метра и, как мрачная память о временах вырубки борового леса под чашу озера, над поверхностью воды иногда, чуть выглядывая, а иногда, сантиметров на двадцать-тридцать, как бы вырастая из неё, стоят неохватные, толстенные пни. Вот в этом месте и попадались огромные караси, в том числе и «дикие». У каждого из нас были свои уловистые пеньки, о которых мы никому не рассказывали даже «по большому секрету!». И только тот, с кем ты водил настоящую дружбу и рыбачил вместе, ну вот — Санёк, знал мои места, а я его.

Заходу на заветный пенёк предшествовало непременно поёживание, стряхивание с ног наспех расшнурованных кед, стягивание под знобкое «У-у-у!» треников и всей прочей одежды. Затем мы приступали к обязательной пробе воды поочерёдно каждой ногой, во время которой обычно сообщалось друг другу: «А вода — ничё! Нормальная!».

Всё! Теперь, после всех обязательных ритуалов, можно заходить в воду. На берегу оставляли бутылки с водой, газетные свёртки с нехитрой провизией да кеды. Вода в озере всегда была значительно теплее воздуха, но всё равно при заходе в неё слышалось обязательное: «Бр-р-р!». Идти в воде надо было тихо, стараясь не распугать рыбу и осторожно ощупывая дно, чтобы не наступать на скользкие корни от пеньков и, оскользнувшись, не плюхнуться.

Когда нога касалась противного, скользкого корня, то было ощущение, что наступаешь на змею и она непременно вот-вот укусит тебя или, обернувшись вокруг ноги, стиснет её так, что ты не сможешь сделать ни шага! А пеньки — и те, что рядом, которые и подставляют тебе корни, и те, что тревожно появляются из расступающегося тумана, — всматриваются в тебя, молчат и ждут, когда же, наконец, испугавшись, ты повернёшь назад... Ну уж нет, не дождётесь! Часто до «своего» пенька приходится идти в воде по грудь, поднимая в руках над водой удочку и собранную в узел одежку.

Но, конечно, более всего охранялась от воды противогазная сумка, добытая всякими правдами и неправдами. В ней находилось всё самое ценное: насадка и прикормка, запасные лески, крючки, поплавки, грузила. Она вместе с трениками и майкой водружались на заветный пенёк. Затем мы и сами, стараясь делать всё предельно тихо, забирались каждый на свой.

После тёплой воды становилось знобко. Одевшись вновь и закатав штанины спортивок выше колен, устраивались на пеньках. Доставали из сумки и перекладывали по карманам коробочки с насадками (тесто, комок круто сваренной манки, ошпаренный геркулес), пара добрых ломтей, ароматного чёрного и ноздрястого белого хлеба отправлялись за пазуху, банка с червями оставалась в боковом кармане сумки. Наконец, собиралась бамбуковая двухколенка и после всех премудростей, сопутствующих забросу, для неё находилось удобное положение, и мы затихали.

Как правило, на пеньках мы сидели, опустив ноги в воду. Ногам было приятно в тёплой воде, но ступни всё ещё помнили осклизлые толстые корни, которые запросто представлялись змеями. И для спокойствия, непременно нужно было посмотреть на ноги сквозь тёмную, красноватую от торфяников воду и, пошевелив пальцами, убедившись, что всё нормально, забыть уже про все сумеречные жуткости на свете.

Караси, за которыми мы отправлялись за тридцать земель или к чёрту на кулички, были особенные. Мы называли их дикими, а ещё — красными. У них была тёмно-жёлтая, с отливом в красноту чешуя, плавники ярко-красные с сероватым палевом по краю. Рот у них был меньше, не такой вытянуто-губастый, как у обыкновенных белых карасей, а нижняя губа, как бы скошена от низа к верху. От этого даже не очень крупный дикий карась казался сердитым.

Эти караси были шире, лопатистее обычных. А силы в нём было! Подсечённый, даже средний карась — с ладошку, стремясь уйти, мог не раз на звенящей леске, выгибая конец удилища, обернуться вокруг пенька! Тут только успевай, поворачивайся да перехватывай его, иначе вот-вот оно, гнущееся в дугу, треснет или леска порвётся! Если же карасю удавалось, несмотря на все твои усилия, вытянуть леску за собой так, что удочка уже не гасила рывки, а вытянутая рука, удилище и леска составляли одну линию, то леска непременно рвалась... Можно было, конечно, предчувствуя обрыв, бросить удочку в воду — пусть рыбища потаскает её за собой, следи только, куда она её утащит. Устанет рыба, вот тогда можно сплавить за удочкой и если повезёт, то и карася поймать. Можно-то можно, только неизвестно, куда удочка может уплыть (озеро-то огромное!) и увидишь ли ты её снова.

Понятно, что о подсачках, что были у взрослых, мы могли только мечтать. Если кому-нибудь из нас выпадала удача засечь крупного дикаря, то надо было, не давая

леске слабину, постараться подтянуть караса к пеньку, изматывая его силы, и, приподняв его голову чуть над водой, выхватить рыбину рукой, сжав за жабры, да как угодно! Держи его, яростно бьющегося, изворачивающегося, скользкого, пытающегося вывернуться из рук, прижимай к пеньку или к себе и после всех волнений, успокаиваясь, пока рыбина не затихнет, шепчи: «Мой! Мой! Мой! Поймал! Поймал!».

Затем этот слиток счастья отправлялся в ту же сумку из-под противогаса, что надёжно на широкой ленте приспособилась на боку, где время от времени, он ещё ворохался. Пусть после такой битвы долго-долго дрожали руки, и ты не мог толком насадить на крючок нового червяка, но твоя рыбацкая удача уже состоялась! Можно было некоторое время, подкормив распуганную шумом рыбу размоченным и обжатым в руке хлебом, просто посидеть, наблюдая за лопающимися на воде пузырями — признаком того, что рыба снова начинает подходить. А твоё «счастье», ворочаясь в сумке, нет-нет, да и даст о себе знать и ты, прижав рукой сумку плотней к телу, улыбаясь, думаешь: вот он, дикий, мой!

Наконец, после непродолжительной суматохи всё в этом туманном мире успокаивается. В то время, пока возишься с «дикарём», немного развиднелось, и теперь я нечётко, но могу разглядеть появившегося из тумана друга. После случившегося у меня переполоха он, повернувшись в мою сторону, безмолвно сводя и разводя перед собой ладони и волнуясь, конечно, спрашивает: «Какой, мол, карась-то?». Я, уверенно разводя руки раза в три больше пойманной рыбы, кивком головы подтверждаю размеры трофея: «Мол — точняк!» Слышу, как Саня, переживая моё везенье, негромко вздыхает. И тут же, опять пропавший в наплывшем тумане, громким шёпотом из него спрашивает: «На что поймал-то?». И после моего ответного шёпота в туман: «На червя взял...» мы с другом опять замираем в ожидании поклёвок.

Если ещё до восхода солнца появлялся слабый ветерок, рассеивая туман над озером и нагоняя мелкую рябь на воду, это предсказывало ветреный день. Но если восход солнца происходил в безветренную, тихую погоду, то было и такое: туман, прежде чем истаять полностью, поднимаясь над водой, замирал на какое-то время и становилась хорошо видна гладь воды, и на берегу, примерно на треть от своего роста, становились видны стволы сосен, тёмно-серые снизу, выше переходящие в коричнево-бронзовый окрас. А пелена застывшего над озером тумана, вбирая не первые лучи солнца даже, а то светлое, радостное, что они несли с собой наступающему утру, исполнялась тихим светом, напоминая мне бесконечное покрывало из сахарной ваты.

Домой мы собирались после полудня, вдоволь накупавшись, но уже не «на пеньках», в этом диковатом даже днём месте, а на пляже с жёлтым тёплым песком, где были устроены и пружинистые деревянные мостки для ныряния и закреплены у берега понтоны. Переложив улов осокой или крапивой, натянув синие трусики, закатав их ниже колен, вытряхнув песок из видавших виды кедров, повязав рубашки вокруг пояса, мы отправлялись в город.

На опушке берёзовой рощи, что встречала нас у озера, или в тенистой глубине её можно было, если уже поспела, набрать земляники. В безветрии рощи всегда стоял такой комариный писк и звон, а комарьё так дружно набрасывалось на нас, что уже и в рубашках с расправленными рукавами, застёгнутыми под горло, и в раскатанных до щиколоток штанинах спортивных, мы, судорожно прихлопывая и размазывая их по лицу, шее, рукам, иногда и вместе с душистой земляничной мякотью, стойко набирали по паре другой пригоршней крупных, продолговатых, ароматных ягод.

Для меня особым удовольствием есть землянику было не по одной, две, три ягоды, а набрав в сложенный ковшиком ладонь небольшую горושку, и затем, запрокинув голову, ссыпать все ягоды в рот и, разминая языком о нёбо нежную мякоть,

наслаждаться таким вкусом и ароматом, что и комариные укусы, и зуд от них на некоторое время забывались.

И ещё каждый раз надо было обязательно набрать земляники домой для мамы. Я выбирал кустики с самыми крупными, глянцево-красными продолговатыми тяжёлыми ягодами, которые тяжестью своей выгибали, каждая свой зелёный ворсистый стебелёк дугой. Кустики один к одному складывались в толстенький пучок так, что получался букет из ягод. Обвязав такой гостинец вместо нитки гибким стеблем травы, отщипнув от него прежде метёлку или зелёный тугой столбик соцветия, я устроивал его в сумку поверх всей поклажи на подстилку из сорванной тут же травы, если не находилось лопушка.

В город, обычно, удавалось доехать на попутке. Кто-то из рыбаков же, отдыхающих или военных, едущих с заставы, подсаживал двоих пацанов. И на вопрос: «Ну как улов?», выслушивал сбивчивый рассказ заядлых рыболовов, каких те натаскали карасей (сам улов, как правило, нами не показывался, особенно если больших карасей в нём не было). Рассказы о сорвавшихся — «во-от таких карасищах!» — водители переживали вместе с нами. Уставшие и сморённые жарой, обычно в процессе рассказа мы и засыпали.

А на подъезде к городу нас с Саньком будили, узнавали, где мы живём, и даже подвозили прямо до дому. Пожелав нам удачи на следующий раз, водители увозили с собой в кабине, кроме нашего «Спасибо!» ещё и густой аромат примятой слегка во сне той самой земляники, запах которой помнится мне сквозь годы.

Теперь, из далёкого далека через пятьдесят с лишним лет, вспоминая то дивное время, я вижу, как двое мальчишек в утреннем полусвете, заходя в воду всё глубже и дальше от берега, теряясь в таинственных колебаниях и разводах тумана, между призрачных очертаний в нём, остатков могучих когда-то деревьев, исчезают совсем...

Что будет с мальчишками в этом тумане?

Что будет с ними дальше по жизни?

Пока — туман,
который всё скрывает,
который гасит все звуки,
ни на что нет ответа.

И мальчишкам, пропавшим в нём,
всё ещё только предстоит...

И лишь вода потревоженного озера еле заметными волнами, словно звуками исчезающего эха, прежде чем успокоиться совсем, ещё раз-другой ленивей, плавней набежит на прибрежный песок — и замрёт снова, обозначив кромку, разделяющую берег с тёмным лесом, и озеро с колеблющимся над ним туманом, в котором исчезли двое мальчишек.

И снова тихо, словно здесь нет и никогда никого не было.

* * *

Совершая свои походы на Протяжку, мы, двенадцатилетние огольцы, и знать не знали, через какие места проходит наша дорога. Слышать мы, конечно, слышали про старца Серафима Саровского, про то, что в давнишние времена он уходил из монастыря и один жил в лесной избушке, молился на камне и даже, подружившись с медведем, кормил того сухариками. Но сколько мы ни искали в тех местах, ни камня, ни избушки — ничего не было.

Правда, под обрывистым берегом Саровки, недалеко от лесной поляны один из источников, в котором мы и набирали воду по дороге на рыбалку, кем-то был обустроен как маленькой колодец. Ночью мы спускались к нему, подсвечивая себе фонариками, иначе навернуться с крутого спуска можно было запросто. При свете фонаря особенно хорошо было видно, что в прозрачной таинственной глубине источника у дна клубятся песчаные облачка, и от этого создавалось впечатление, что дно источника-родничка шевелится.

Из-за того что последние венцы маленького сруба были выше уровня воды в речке вода в источнике и речная не смешивались, всегда была чистая и такая холодная, что пить её можно было только маленькими, быстрыми глотками. А песчаные облачка, движимые током воды у дна, казалось — вот они — опусти руку и коснётся их! Но не тут-то было! Мои попытки зачерпнуть их ковшиком, что всегда с кружкой или стеклянной банкой висели тут же на ветках прибрежного кустарника, были бесполезны. Да что там ковшиком! Даже опущенным в воду порядочной длины прутом дна источника достать не удавалось.

Выше уровня речной воды в одном из брёвнышек сруба был устроен сливной жёлоб, и вода источника с журчанием стекала по нему в тёмную речную воду. Подставив под струйку взятые из дома бутылки из-под лимонада, мы наполняли их, а после мелкими глоточками пили и пили впрок.

В том, что старец жил в лесу один, мы ничего необычного не находили. К тому времени мы уже и сами ватажкой ходили на Протяжку или на Филипповку с ночёвкой, а то и с двумя, и жизнь в лесу у озера нам очень нравилась! То, что к дедушке Серафиму приходил медведь, мы вполне допускали, не все же медведи, наверное, злые...

Саровка в этих местах и в самое жаркое время не пересыхала. Подпитывающие её ключи и сток воды на Протяжке сохраняли не только маленькие бочажки и омутки в ней, но и несильное течение, убыстряющееся в местах узких и на песчаных перекалах. И там, где совсем мелко, где даже красноватая вода не скрывала песчаного дна, было видно, что в ней нет-нет и промелькнут тёмные спинки небольших рыбёшек. Но ловить? Мы никогда не ловили рыбу в Саровке выше посёлка Ключевого. Уж больно густой, часто и вовсе непроходимый лес сошёл к её берегам. Да и сами берега большей частью её так круты, что и поостережётся по ним спускаться, а завалы из деревьев над нею так часты и густы, что местами течёт она и вовсе скрытая от взгляда. Какая уж тут рыбалка!

От Ключевого, что на границе города с лесом, и до самой Протяжки несчётное количество раз исхоженная нами дорога и тихая лесная речушка так и идут рядышком, не пересекаясь. Но незнающему путнику скрытые друг от друга то мощными боровыми соснами с густым подростом, то сменяющим их липняком вперемешку с осиной и берёзой, а по низинам и приовражьям — тёмными ельниками с их пружинистыми под ногой мхами, укрывающими и созревший валежник, и огромные пни, забирающимися по стволам елей, и свисающими с их нижних, разлапистых ветвей бородами и лохмотьями, это и неведомо.

Ещё хорошо помню, что в какое место в гуще леса ни зайди, непременно встретишь муравейник из жёлтых и серых сосновых иголок, мелких веточек, созревших листьев и прочего лесного сора. Высотой — то с малую горюшку, что, улыбаясь, ладит в песочнице малыш, то с порядочный ворох листьев, что наматают по осени дворники. Есть муравейники даже в твой рост, а часто и выше! Иногда с одного места, оглядевшись, сразу несколько заметить можно! Стоят, словно стражники на покое тишины лесной. Оттого и в лесу, особенно в светлую тихую осень (то время, в которое я особенно

полюбил теперь бродить по этим местам), было — зайти — ни движенья, ни звука... Тишина звонкая! Разве редко мелькнувших птиц пересвист, начавшись едва, оборвётся — и вновь тихо, покойно...

Теперь-то мне доподлинно известно, что мы останавливались набрать воды и напиться из источника как раз на месте Дальней пустынки преподобного батюшки Серафима. Давно уже обустроены здесь, в Дальней пустынке, часовня и ладный домик с сенями и комнаткой-келейкой Преподобного, в которой небольшая белёная печурка и два простеньких пёстрых домотканых половичка прямо от входа в келейку и расходятся. Один из них к красному по левую руку от входа углу с большим образом Пресвятой Матушки Богородицы, что не единожды нисходила до явления великому саровскому затворнику и молитвеннику.

С любовью и тихой грустью, в свете никогда не угасающих перед Ней лампадки и свечей, взирает Пресветлый Лик на каждого приходящего в эту обительку поклониться Преподобному и просить его помощи.

И камень есть под светоносной иконой, быть может, схожий с тем малым, что батюшка обрёл себе в затвор для дневных молений.

Второй половичок — прямиком от двери к простенку с большой же иконой, с которой и сам батюшка Серафим, встречая переступающих порог его пустынного жилища, воздев руки небу, словно говорит:

— Я, убогий, упросил о вас Божию Матерь и не только о вас, но по всех, любящих меня, и о тех, кто служил мне и моё слово исполнял; кто трудился для меня, кто обитель мою любит, а кольми паче вас не оставлю и не забуду. Я отец ваш, попекусь о вас и в сём веке, и в будущем; и кто в моей пустыне жить будет, всех не оставлю...»

Давно уже и по пути к Дальней пустынке, в которой Преподобный подвизался в долгие годы трудами и молениями неустанными искать за себя и за нас — дорогам земным в пути небесные обратиться, — путников встречает потемневший от времени крест с малой часоушкой над ним и, пусть с другим уже, гранитным камнем, но возлежащем в том самом месте, где Преподобный совершал тысяченощное столпное стояние своё на диком камне.

Позже, конечно, много позже ребяческих лет, пришло осознание того, что молитвенная сила этих мест, где выпало счастье мне родиться, и вела меня по жизни, начиная с той самой лесной дороги, на которой мальчик ночью переглядывался с перешёптывающимися между собой и при Великом Старце звёздами. Что пил я, быть может, из того же самого источника, в прозрачной глубине которого и под взглядом Преподобного клубились и перекатывались песчаные облачка, каждая песчинка в которых — судьба человеческая.

